

ВЫЙТИ НА ЛЮБОЙ СТАНЦИИ

— КНИГА 2 —

ЧУЖИЕ МАРШРУТЫ

Иногда, чтобы найти себя,
нужно проехать
чужими путями.

ВЫБОР
НЕ ПРОСТ,
НО ОН ТВОЙ

НИКОЛАЙ ГАНЮШКИН

Николай Ганюшкин

Чужие маршруты. Том

2. Выйти на любой станции.

<https://litres.ru/74314349>

SelfPub; 2026

Аннотация

Оказывается, чтобы перестать быть собой, необязательно совершать что-то ужасное. Достаточно жить по чужим маршрутам — и однажды обнаружить, что тебя больше нет.

Артём поступил в университет — и разочаровался в нём с первой же лекции, где немолодой профессор двадцать лет диктует под запятую то, чего сам давно не понимает. Он ищет огонь, а находит усталость. И тогда в его жизнь возвращается школьный друг Марк — с лёгкими деньгами, дерзкой уверенностью и презрением к «нытью о смысле». Марк предлагает простой путь: не думать, а брать. И Артём берёт — сначала первые лёгкие деньги, потом первую маленькую ложь родителям, потом чужую жизнь целиком, как костюм не по размеру.

Вторая книга цикла «Выйти на любой станции» — о том, как страшно легко примерить чужую судьбу вместо своей и как больно потом упереться в тупик. Можно ли идти по чужим рельсам — и не приехать в чужую жизнь?

Николай Ганюшкин

Чужие маршруты. Том

2. Выйти на любой станции.

Николай Ганюшкин

КНИГА ВТОРАЯ

ЧУЖИЕ МАРШРУТЫ

Часть I

Глава 9. Аудитория №4

Разочарование — вещь незаметная. Оно не приходит в один день, с фанфарами, чтобы объявить: «Здравствуйте, я ваше разочарование, я поселюсь тут надолго». Оно просачивается. Капля за каплей, пара за парой, и в какой-то момент ты обнаруживаешь, что уже давно тонешь, хотя не заметил, когда вода дошла до горла. Со мной и университетом произошло именно так. Между «мне тут не очень» и «я ненавижу сюда ходить» пролегло недели три — ровно столько, сколько понадобилось воде, чтобы подняться.

Была такая аудитория — номер четыре. Большая, на весь поток, амфитеатром, с рядами, уходящими вверх, как в античном театре, только вместо трагедии здесь разыгрывалась макроэкономика. В этой аудитории я провёл, кажется, лучшие свои часы первого курса — в том смысле, что именно

там я окончательно понял про образование то, что Марк пытался вбить мне в кофейне, но чему я тогда не поверил.

Читал у нас профессор — назовём его Аркадий Борисович, потому что настоящее имя я, каюсь, забыл, а помню только это ощущение вечной пыли, которое от него исходило. Аркадий Борисович был человек, безусловно, знающий. В этом я ни секунды не сомневаюсь: он знал свой предмет как таблицу умножения, наизусть, назубок, от корки до корки. Проблема была не в том, что он не знал. Проблема была в том, что он давно перестал понимать, зачем это знать. Он читал лекцию так, как молятся на непонятном языке, — механически перебирая слова, смысл которых утрачен, но порядок священен. Он входил, открывал старую папку с пожелтевшими листами — теми самыми, я уверен, по которым читал лет двадцать назад, — и начинал диктовать. Не рассказывать. Диктовать. Ровным, усыпляющим голосом, делая паузы ровно там, где нам полагалось поставить запятую.

Мы записывали. Полторы сотни человек в амфитеатре синхронно водили ручками, записывая под диктовку определения, которые с тем же успехом можно было прочесть в учебнике, а учебник — скачать, а скачанный учебник — не открывать. Мы переписывали в тетради то, что и так существовало в напечатанном виде, — и в этом бессмысленном переписывании, в этом переливании знания из книги в тетрадь через человека, который сам давно не помнил, зачем оно, и заключалась, как я тогда понял, вся суть происходя-

щего.

Я поднял однажды руку. Единственный раз за весь семестр. Аркадий Борисович диктовал определение какого-то экономического закона — что-то про то, как при таких-то условиях происходит то-то, — и я, дурак, поднял руку и спросил:

— А зачем?

Аудитория притихла. Аркадий Борисович поднял на меня глаза поверх очков — впервые за месяц он вообще посмотрел на кого-то конкретного, обычно он смотрел в свои листы или в пространство над нашими головами.

— Что «зачем»? — переспросил он.

— Ну... — Я почувствовал, что зря начал, но отступить было поздно. — Зачем нам это знать? Вот этот закон. Где он в жизни? Как я его применю?

Повисла пауза. Я думал, он рассердится. Но он не рассердился. Он посмотрел на меня почти с жалостью — с той жалостью, с какой смотрят на человека, задавшего вопрос, ответа на который нет, но признаться в этом нельзя.

— Молодой человек, — сказал он. — Вы в университете. Здесь не спрашивают «зачем». Здесь учатся. Придёт время — поймёте зачем.

И вернулся к диктовке.

«Придёт время — поймёте зачем». Знаете, сколько раз мне в жизни говорили эту фразу? Отец, учителя, теперь вот Аркадий Борисович. «Придёт время — поймёшь». Это уни-

версальная отмычка взрослых, которой они запирают любой неудобный вопрос. Она вроде бы обещает, что смысл существует, просто он отложен, спрятан в будущем, выдаётся по достижении зрелости, как пенсия. Но я начал подозревать страшное: что за этой фразой нет никакого будущего понимания. Что её говорят не потому, что знают, а потому, что не знают, — и не хотят в этом признаться. «Придёт время — поймёшь» означает на самом деле: «Я сам не понимаю, но перестал об этом спрашивать так давно, что тебе тоже пора перестать».

Я сел. Больше рук не поднимал. Записал в тетрадь продиктованное определение — аккуратно, с запятой в положенном месте, — и рядом, на полях, мелко приписал для себя: «Здесь не спрашивают „зачем“. Здесь учатся. Это и есть диагноз».

Вот тогда, в аудитории номер четыре, вода дошла мне до горла.

Дело было даже не в скуке. Скуку я готов был терпеть — я и в школе скучал одиннадцать лет и как-то выжил. Дело было в бессмысленности, а бессмысленность страшнее скуки, потому что скука хотя бы предполагает, что где-то есть интересное, а бессмысленность отрицает существование смысла в принципе. Я пришёл в университет с наивной, детской, но искренней надеждой: я думал, что здесь, во «взрослом» учебном заведении, меня наконец будут учить чему-то настоящему. Что тут будут не заставлять, а зажигать. Что най-

дётся хоть один человек, который посмотрит на меня и скажет: «Смотри, как это интересно», — и я поверю, и загорюсь, и пойму, зачем всё. Я искал не знание. Я искал огонь. Я искал взрослого, который сам горит, — потому что от такого, я чувствовал, можно было бы прикурить и своё.

А нашёл я папку с пожелтевшими листами и человека, который двадцать лет диктует под запятую то, чего сам уже не понимает.

Марк был прав. Вот что меня добивало — что прав оказался Марк, циничный, поверхностный Марк из кофейни. Образование действительно было системой, только я теперь видел это не его глазами (система, которая держит людей в стойле), а своими, и мои глаза видели чуть иначе, печальнее. Я видел не заговор, а усталость. Огромную, накопленную поколениями усталость. Аркадий Борисович когда-то, наверное, тоже поступал в университет и надеялся на огонь. И не нашёл. И стал сам таким же, как те, кто не зажёг его, — потому что огонь не передаётся от тех, кто сам погас. И теперь он гасил нас, полторы сотни человек в амфитеатре, гасил спокойно, без злого умысла, просто по инерции угасания, которая передаётся из поколения в поколение, как эстафета, только наоборот — эстафета не света, а его отсутствия.

После пары я вышел в коридор и столкнулся с Владом — тем самым, для которого экономика была «языком власти». Влад был доволен жизнью. Влад конспектировал прилежно, Влад планировал красный диплом, Влад точно знал, зачем

ему всё это, и его «зачем» было простым и честным: диплом — работа — деньги — статус. Он не искал огня. Ему не нужен был огонь. Ему нужна была лестница, и университет был первой её ступенькой, и он спокойно на неё встал и полез вверх, не задаваясь вопросами, которые меня терзали.

— Ты чего Борисыча-то подколол? — спросил Влад, ухмыляясь. — «Зачем, зачем». Ясно зачем. За дипломом. Ты что, за знаниями сюда пришёл, что ли? — Он засмеялся, искренне, добродушно, как смеются над милой наивностью. — Знания в интернете, чувак. Сюда за корочкой ходят. Все это знают.

И вот что странно: Влад не был циником, как Марк. Влад был просто здоровым, нормальным человеком, который правильно понял правила игры и играет по ним без нытья. Он не мучился, потому что не ждал от университета того, чего университет не даёт. Он пришёл за корочкой и получал корочку. Разочарование — это ведь всегда разница между ожиданием и реальностью, а у Влада ожидание и реальность совпадали идеально, и потому он был счастлив, а я — нет. Я разочаровался, потому что чего-то ждал. Влад не ждал ничего лишнего — и не разочаровался. Кто из нас был умнее? Формально — он. Он адаптировался. А я упирался в стену и удивлялся, почему больно.

Я шёл домой и думал: может, дело во мне? Может, я просто из тех вечно недовольных, кому всё не так, кто везде ищет какой-то особенный смысл, которого нет и не должно

быть, и оттого мучается на пустом месте, пока нормальные люди вроде Влада и Даши просто делают, что надо, — и живут? Может, требование смысла — это болезнь, а не достоинство? Может, здоровый человек берёт корочку, не спрашивая «зачем», потому что понимает: «зачем» — это роскошь, которую не всякий может себе позволить, а кто позволяет, тот в итоге и катается по кольцу до седых волос?

Эта мысль испугала меня больше макроэкономики. Потому что если я прав — если требование смысла и есть корень всех моих бед, — то из этого следовал только один выход: перестать спрашивать «зачем». Стать Владом. Или Аркадием Борисовичем через тридцать лет. Погаснуть добровольно, чтобы больше не жгло изнутри неудобными вопросами.

И тут — я хорошо помню этот момент, я как раз спускался в метро — мне вспомнился незнакомец из вагона. Его слова про чистый лист. И другие его слова, те, что он сказал уже под конец, тише: про то, что он-то как раз всё думал, всё искал ясности, и доискался до того, что дороги заросли. Он тоже спрашивал «зачем». Всю жизнь. И это его не спасло — но и не убило. Он дожил до пятидесяти, катаясь по кольцу с вопросом, — и всё-таки в нём было что-то живое, что-то незагашенное, потому что он же увидел меня, увидел мгновенно и точно, а Аркадий Борисович за месяц не увидел никого. Значит, спрашивать «зачем» — не смертельно. Значит, можно жить с вопросом и не погаснуть. Просто это тяжелее, чем жить без него.

Я спустился на платформу. Подошёл поезд — не кольцевой, обычный. Я сел и поехал домой, и всю дорогу в голове крутилось одно решение, ещё робкое, ещё не оформившееся, но уже определённое: я не стану Владом. Я не смогу. Я слишком хорошо помню, как это — искать огонь, чтобы согласиться жить в холодной комнате, притворяясь, что мне тепло. Пусть я буду мучиться. Пусть я буду недоволен, неприкаян, вечно спрашивать «зачем» и злить профессоров. Но погаснуть добровольно, в восемнадцать лет, ради корочки — нет. Это была бы не зрелость. Это была бы капитуляция, переодетая в зрелость, — а разницу между этими двумя вещами я к тому времени уже начинал различать.

Дома мать спросила, как учёба. Я сказал: «Нормально».

А в тетради по макроэкономике, между продиктованными определениями, той осенью появлялось всё больше моих собственных заметок на полях — мелких, кривых, для себя. И постепенно этих заметок на полях становилось больше, чем конспекта. Потом я перестал ходить на пары почти совсем. Но это было ещё впереди. Пока я просто сидел в аудитории номер четыре, записывал чужое посередине и своё — по краям, и не знал, что края эти важнее середины. Что вся моя настоящая учёба в тот год шла именно на полях.

Глава 10. Однокурсники

Группа наша к октябрю уже расслоилась. Люди — существа, которые не выносят однородности; посади сто одина-

ковых первокурсников в одну аудиторию, и через месяц они сами собой распадутся на касты, кланы и одиночек с той же неизбежностью, с какой масло всплывает над водой. У нас образовались свои. Была компания «активистов» во главе с Владом — те, кто ходил на все собрания, вступал во все советы и уже строил карьеру внутри студенчества, репетируя будущую карьеру в жизни. Была компания «весёлых» — те, для кого университет был площадкой для тусовок, а учёба досадным приложением. Были «зубрилы», тихие и незаметные, жившие в библиотеке. И были одиночки — вроде меня, дрейфующие между кастами, ни к одной толком не прикнувшиеся.

И была Даша.

Даша не принадлежала ни к одной группе, но не потому, что дрейфовала, как я, а потому, что ей было некогда. Это я про неё и запомнил в первую очередь — что ей всегда было некогда. Пока все после пар решали, куда пойти, она собирала свою бумажную тетрадь и уходила — на работу. Она работала официанткой в кафе где-то в центре, вечерами и по выходным, и это было в ней первое, что меня раздражало: демонстративность. Мне казалось, что она нарочно, назло всем нам, беспечным, подчёркивает, что вот, мол, она-то работает, она-то взрослая, а мы тут в игрушки играем. «Мне на работу» — эти три слова она произносила, как мне тогда слышалось, с лёгким превосходством, с укором.

Раздражало и остальное. Она была слишком серьёзной.

Слишком собранной. Никакого налёта той приятной студенческой безалаберности, которая роднила остальных. Она конспектировала лекции — все, подряд, даже нудятину Аркадия Борисовича, — аккуратным ровным почерком, без единой заметки на полях (я как-то заглянул через плечо и удивился этой пустоте по краям: значит, у неё нет своих мыслей поперёк чужих? значит, она просто принимает всё как есть?). Она отвечала на семинарах — толково, по делу, без блеска, но и без глупостей. Она ни с кем особо не сближалась, ни перед кем не заискивала, никого не осуждала вслух. Идеальная, в общем, студентка — из тех, что вызывают у меня инстинктивное недоверие, потому что за идеальностью, думал я, обязательно что-то прячется: либо расчёт, либо пустота.

Я решил, что пустота. Я решил, что Даша — из породы людей без внутренней жизни, из тех, кто просто делает, что положено, потому что так надо, и никогда не спрашивает «зачем». Приземлённая. Скучная. Функциональная. Женская версия Влада, только без его амбиций, — работает, учится, тащит свою лямку и не задаётся вопросами о смысле, потому что вопросов о смысле у неё, видимо, и нет. И этот мой диагноз давал мне странное, стыдноватое утешение: рядом с «пустой» Дашей я, вечно ищущий смысл и мучающийся, чувствовал себя, что ли, глубже. Тоньше. Настоящее. Она таскает подносы — а я страдаю о высоком. Кто из нас живёт по-настоящему? Ну, ясно кто.

Как же я был глуп. Но чтобы это понять, мне понадобился один вечер и одна случайность.

Случилось это так. Задали нам групповую работу — какой-то проект, который надо было делать в парах, и преподаватель, не мудрствуя, разбил нас по алфавиту. Я оказался в паре с Дашей — фамилии наши стояли рядом. Я был не в восторге, и, судя по её лицу, она тоже, но деваться было некуда. Договорились встретиться, доделать. Она предложила — в её кафе, после смены, там можно посидеть, и ей удобно. Я согласился, потому что предлагать своё было лень, а её вариант хотя бы избавлял меня от необходимости думать.

Кафе оказалось маленьким, из тех семейных заведений, что чудом выживают в центре между сетевыми гигантами. Я пришёл к концу её смены и первый раз в жизни увидел Дашу не в роли однокурсницы, а в роли работника. И это, скажу я вам, было совсем другое зрелище.

Она была быстрой. Не суетливой — именно быстрой, экономной в движениях, как человек, который делает эту работу давно и хорошо. Она держала в голове несколько столов сразу, помнила заказы, улыбалась гостям — не той дежурной, натянутой улыбкой, а нормально, по-человечески, и гости ей улыбались в ответ, потому что чувствовали: не притворяется. Пожилой паре она принесла чай, не дожидаясь заказа, — видимо, завсегдатаи, знала, что закажут. Ребёнку за одним из столиков что-то шепнула, и он засмеялся. Она была на своём месте — вот что меня поразило. Она, восемнадцатилетняя,

летняя официантка в маленьком кафе, была на своём месте так органично, как я не был нигде и никогда — ни в школе, ни в университете, ни в собственной комнате.

Я сидел в углу, ждал, пока она освободится, и смотрел на неё, и во мне что-то поворачивалось, медленно, со скрипом, как ржавый ключ в старом замке. Это не была «приземлённость». Это было мастерство. Скромное, невидное, никем не воспетое мастерство хорошо делать простую работу. То, что я с высоты своих терзаний о смысле презрительно называл «функциональностью», оказалось вблизи чем-то совсем иным — достоинством. Умением быть полезной, нужной, хорошей в чём-то конкретном, здесь и сейчас, а не когда-нибудь потом, когда наконец найдётся Великий Смысл.

Смена кончилась. Даша сняла фартук, взяла две чашки чая — себе и мне, за счёт заведения, сказала, «хозяин разрешает своим», — и села напротив. И вот тут выяснилось второе, отчего мой диагноз о «пустоте» рассыпался окончательно.

Мы, конечно, начали с проекта. Но проект мы сделали за полчаса — она сделала, если честно, потому что подошла к нему так же, как ко всему: собранно, толково, без лишних мучений. А потом, когда закрыли ноутбук, разговорились. И оказалось, что за этой её серьёзностью не пустота, а совершенно конкретная, тяжёлая, взрослая жизнь.

У Даши не было отца — ушёл, когда ей было десять, растворился, как незнакомец в вагоне, только навсегда. Мать бо-

лела — что-то с сердцем, работать толком не могла. И был младший брат, Мишка, восьми лет, которого, по сути, растила Даша. Она рассказала это без надрыва, без жалости к себе, буднично — так рассказывают о погоде, — но за этой будничностью я вдруг увидел объём её жизни, и мне стало стыдно. По-настоящему стыдно, до горячих ушей.

Пока я ездил по кольцу, оплакивая невозможность выбрать между одиннадцатю воображаемыми профессиями, эта девочка вставала в шесть, отводила брата в школу, ехала на пары, потом на смену, работала до вечера, возвращалась, проверяла у брата уроки, что-то готовила, ложилась за полночь — и назавтра всё сначала. У неё не было ни минуты на то, чтобы мучиться вопросом «как правильно прожить жизнь». Она её просто проживала. Каждый день. Руками, ногами, спиной, ноющей после смены.

— А ты чего такой? — спросила она вдруг, глядя на меня поверх чашки. — На парах сидишь как в воду опущенный. И на полях что-то всё пишешь, я видела. Стихи, что ли?

— Не стихи. — Я смутился. — Так. Мысли.

— Мысли. — Она усмехнулась, но не зло. — О чём мысли-то?

И я, сам не знаю почему, вдруг рассказал. Про то, что не понимаю, зачем учусь. Про то, что поступил случайно, по трусости. Про кольцевую линию. Про то, что боюсь выбрать, потому что выбор необратим. Я говорил, а сам слушал себя её ушами — ушами человека, у которого болеет мать и рас-

тёт брат, — и всё, что я говорил, звучало в этих ушах, наверное, как жалобы сытого кота на то, что миска стоит не под тем углом.

Она выслушала. Не перебивала. А когда я закончил, помолчала и сказала — без осуждения, спокойно, но так, что я запомнил на всю жизнь:

— Знаешь, я тебе, может, странную вещь скажу. Я вот тебе даже завидую немножко.

— Завидуешь? — Я не поверил.

— Ну да. — Она пожала плечами. — У тебя есть время думать. Роскошь такая. Понимаешь? Ты можешь позволить себе не знать, кем быть. Можешь выбирать. Можешь ездить по своему кольцу и мучиться. — Она отпила чай. — А я не могу. Мне выбирать некогда и не из чего. Мне надо. Просто надо. Мать, Мишка, деньги — и всё, вот и весь мой выбор. Я даже не знаю, кем я хочу быть. Мне некогда было это выяснить. — Она сказала это без жалобы, просто как факт, и от этого стало ещё горше. — Так что ты не думай, что твои мучения — это ерунда. Может, и ерунда. А может, это как раз то, что я себе позволить не могу. Кто из нас богаче — ещё вопрос.

Я сидел, оглушённый. Она перевернула мне всё. Я-то был уверен, что это она — обделённая, а я — тонко чувствующий страдалец. А оказалось, что мои страдания — это привилегия. Что сама возможность сидеть на кольцевой и мучиться вопросом «как жить» доступна только тому, у кого решён

вопрос «на что жить». Что философия — роскошь сытых, и я, презиравший «приземлённую» Дашу, был на самом деле избалованным ребёнком рядом с ней.

И ещё я понял в тот вечер вещь, которая потом не раз ко мне возвращалась. Я ведь придумал себе Дашу. Всю целиком — пустую, скучную, приземлённую. Придумал, ни разу с ней толком не поговорив, по внешним признакам: бумажная тетрадь, «мне на работу», отсутствие записок на полях. Я судил её — и осуждал — за то, чего боялся сам. Я боялся оказаться человеком без внутренней глубины, «функциональным», как Влад, — и потому поспешил навесить этот страшный для меня ярлык на первого попавшегося, на неё, чтобы на её фоне почувствовать себя глубоким. Мы всегда так делаем, я потом много раз это за собой ловил: мы приписываем другим ровно те недостатки, которых больше всего боимся в себе, и презираем в чужих то, что не готовы признать своим. Осуждение — это почти всегда автопортрет, только вывернутый наизнанку.

Я проводил её до метро. Ей было в другую сторону. На прощание она сказала — обыденно, без всякого пафоса:

— Ты это, не кисни там на парах. Философия философией, а зачёты сдавать надо. Вылетишь — и никакого кольца уже не будет, будет армия или завод. Тоже мне выбор.

И ушла — быстрым, экономным шагом человека, которого дома ждут мать и восьмилетний брат. А я поехал домой — на прямой линии, но чувствуя себя так, будто весь вечер

прокатался по кольцу и наконец сошёл на незнакомой станции, где всё оказалось не так, как я думал.

В тот вечер я записал в заметки: «Даша не пустая. Пустой был я — про неё придумал. Судишь людей — рисуешь свой страх. Запомнить».

И, забегая вперёд, скажу: Даша ещё сыграет в моей жизни роль куда большую, чем партнёр по проекту, разбитый по алфавиту. Но не ту, о какой вы, может быть, подумали. Не любовную. Что-то важнее и труднее любви — но об этом потом. А тогда я просто ехал домой и заново, с самого начала, учился смотреть на людей. Не придумывать их. А смотреть.

Глава 11. Схема Марка

Марк не сдавался. Это была одна из его черт, которую я тогда принимал за силу, а позже научился видеть насквозь: он не умел слышать «нет». Точнее, слышал, но воспринимал не как ответ, а как временное препятствие, которое можно обойти, если зайти с другой стороны и надавить чуть сильнее. Он писал мне раз в неделю — коротко, необязательно: «как жизнь», «не передумал?», «есть новости, надо встретиться». И каждое такое сообщение падало в меня в самый подходящий момент — после очередной пары в аудитории номер четыре, после очередного вечера, когда я чувствовал себя лишним и потерянным. Марк умел появляться именно тогда, когда я был слабее всего. Не думаю, что он рассчитывал, — просто хищники чувствуют момент, это в них от

природы.

К ноябрю я созрел. Не потому, что поверил в его бизнес, — я по-прежнему не понимал толком, чем он занимается. А потому, что мне были нужны деньги, и, что важнее, мне было нужно почувствовать себя хоть кем-то. Понимаете, в университете я был никем — сереньким первокурсником, который сидит на задах и пишет на полях. Дома я был обузой, объектом родительской тревоги, вечным «когда же он определится». А Марк предлагал мне роль. Он говорил: «Ты умный, ты аккуратный, ты мне нужен». Он предлагал мне быть нужным — а быть нужным, как я потом понял, было в тот год моим самым большим, самым тайным голодом, сильнее голода по смыслу и по деньгам, вместе взятым.

Мы встретились. Не в кофейне на углу — в этот раз в каком-то коворкинге, куда Марк меня привёл с видом хозяина, хотя, как выяснилось позже, он там просто арендовал место по часам. Но обстановка работала на него: столы, люди с ноутбуками, атмосфера деловитости, ощущение, что здесь делаются дела. Марк подавал это как свой офис, и я, дурак, впечатлялся.

Схема — я наконец её понял, и она оказалась именно такой, какой обычно бывают все схемы Марков этого мира: на грани. Не за гранью — Марк был слишком умён, чтобы лезть напрямую в криминал, — а именно на грани, в той серой зоне, где формально всё почти законно, а по сути все всё понимают. Речь шла о перепродаже. Марк находил товар — где-

то дёшево, оптом, с рук, — и перепродавал через объявления, накручивая цену. Товар был разный: то техника, то что-то ещё, я даже не всегда вникал. Моя роль была — «работать с клиентами». Отвечать на объявления, договариваться о встречах, забирать деньги, отдавать товар. Быть, как это называлось, «лицом». Приятным, вызывающим доверие лицом, потому что у самого Марка лицо было слишком быстрым, слишком продающим, а нужно было наоборот — честное, простое, надёжное. Такое, как у меня.— Понимаешь, — объяснял Марк, — люди боятся покупать у таких, как я. От меня

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.